



Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

Некрасов

При разборе поэзии Некрасова часто говорят о нем как о человеке и выносят ему суровый приговор, — правда, не суровее того, каким он осудил себя сам:

Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу¹.

Мы же не будем касаться его личности, потому что она умерла и в русском обществе живут не его пороки и недостатки, а его стихотворения. Однако и не выходя за пределы последних, слишком легко заметить, что он явственно и болезненно видел ту пропасть, которая отделяла его идеалы и мечты от его действительности. Может быть, это и придало многим его стихам оттенок искренней меланхолии, благородной печали. Он не скрыл в своих произведениях, что его глодала тяжкая болезнь: он не уважал самого себя. Он страдал от себя, болел собою. Его лирические строфы показывают, как ужас самопрезрения проникал в его душу, как изнывал писатель в неисцелимой тоске и, словно ребенок, ждал и жаждал спасения от матери, со стороны. «Выводи на дорогу тернистую!..» Но, разумеется, на тернистую дорогу не выводят, а выходят. И со стороны не могло явиться того, чего не было в сердце и воле самого поэта, так что до конца дней своих томился Некрасов от горькой неудовлетворенности, от того, что он не мог прямо и смело смотреть в глаза своей взыскательной совести и в жизненной вялой дремоте «заснул» свою душу. Он не взошел на вершину собственных требований и погрязал внизу, в житейской тине, полный отчаяния, слез и стыда. Он, по своему выражению, остывал, черствел с каждым годом; «хорошо умереть молодым», но Некрасов пережил

свою моральную молодость. Правда, он хранил поблекшие цветы с ее могилы и хотел спастись этим советом:

А станешь стареться, нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце обнови².

Но одними могилами жить нельзя, сердцу нет обновления, и «бог старости, неумолимый бог» старости не столько физической, сколько нравственной, все более и более осыпал его голову сединой, делал его больным и угрюмым, покрывал его когда-то пламенную душу серым пеплом безразличия. Сама муза отвернулась от него, и, поэт, он пережил высшее горе поэта — музу неблагосклонную, музу разлюбившую:

И муза вовсе отвернулась,
Презренье горького полна³.
.....
Жизнью измят я... и скоро я сгину...
.....
И про убитую музу мою
Я похоронные песни пою⁴.

Что же, разве Некрасов представляет в этом смысле какое-нибудь разительное исключение, разве только ему одному присуще это одеревенение, эти медленные и длительные похороны самого себя, когда «каждый день» становится «убийцей какой-нибудь мечты»? Разве не все мы делаемся менее и менее впечатлительны к добру и злу и у многих ли душа не превратилась в равнодушие? Наконец, разве он не мог найти себе оправдания и облегчения в словах великого Пушкина, что вне минут художественного творчества поэт ничтожнее всех детей мира?

На это надо сказать, что, действительно, Некрасов несколько не был хуже других, и этот кающийся преступник, поэт покаяния, этот страстный поклонник дяди Власа с его веригами если и не мог оправдаться на внутреннем Страшном суде, перед самим собою, то уже наверное имел право смотреть в глаза «нам, другим». Если укоризненно взирали на него со стен чужие портреты, то это были скорее не лица, а «темные лики святителей»⁵; это были страстотерпцы, «друзья народа и свободы»⁶, люди декабристского типа, — они, конечно, но только они были вправе посылать ему укоры, на которые он и отвечал раскаянием своей уступившей души. При суждении о Некрасове и в особенности при его осуждении надо помнить, что если

он пал, то ведь под великой же тяжестью; если он оказался малым, то ведь это сравнительно с таким величием, которому на его месте не удовлетворил бы и никто другой. Он не осуществил своего подвига, но подвиг-то взял на себя геркулесов. Именно — взял на себя, добровольно, не по чужому требованию; он сам возложил на свои плечи бремена неудобноносимые — и вот не выдержал, надорвался, как его герой, каменщик Трофим⁷.

В самом деле он хотел воспеть страдания народа, изумляющего своим терпением. Для того чтобы это сделать искренне и достойно, надо страдания не только петь, но и перестрадать, вонзить их, как копыя, в собственную грудь. Быть певцом великого народа и сострадателем великих страданий захотел Некрасов; объектом своей поэтической работы он избрал целую страну, целую нацию. Он мечтал бросить хоть единственный луч сознания на путь русского народа, озарить его тьму, быть для него солнцем и песнью. Вот такая грандиозная задача, по-настоящему только для героя и святого, оказалась непосильной для него. Он, как и все, был прикован к минутным благам жизни, он был рабом среды и привычек, рабом большого города. Он был человек перемирия; в свои заводы манила его «робкая тишина», он «к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой», — к цели не житейской, а возвышенной.

Во всяком случае, если мы, судящие Некрасова, должны постоянно иметь в виду тот необъятный масштаб, которому он был несоизмерим, то сам поэт никакого снисхождения себе не оказывал, и ему не приходило на мысль, что он мал только перед великим. Сам он считал себя кругом виноватым и до могилы донес сознание своей вины. Все время он чувствовал, что только рыцарем на час, на один мечтательный час лунной ночи, дано было ему быть, а не тем вечным паладином и освободителем народа, какой рисовался ему в его идеалистически окрашенном воображении. Правда, свою слабость он объяснял своим прошлым; он всегда оборачивался назад, чтобы там, во тьме родного крепостничества, найти причины своей теперешней порочности. Нельзя безнаказанно владеть рабами, принадлежать к роду плантаторов; оттого Некрасов и чувствовал рабом себя самого, и был он в плену у собственных мелких страстей, была несвободна у него самая душа. Все оглядываются на свои детские годы как на потерянный и невозвращенный рай — между тем Некрасов, забывая юные прекрасные впечатления, свою Волгу, которую он сам же воспел, Некрасов бросает презрение в лицо своей родине, проклиная свою колыбель, и так жутко и страшно читать у него про это злорадство, с которым он смотрел на развалины отцовского дома, на разорение родимого гнезда, на исклновение самой природы:

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор,
В томящий летний зной защита и прохлада,
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понутив голову над высохшим ручьем,
И на бок валится пустой и мрачный дом...⁸

Вспоминая свой восход, он не называет его лучезарным и говорит про себя, что ничем он в детстве не пленен и «никому не благодарен». Может быть, в этом и кроется источник его страданий и его падений: нельзя вступать в жизнь без солнечного восхода и без признательности; к кому-нибудь или к чему-нибудь надо питать молитвенные чувства, надо благоговеть и благодарить.

Трагедия Некрасова, однако, еще более глубока, чем это можно подумать на первый взгляд. Поэт сам потому считал себя павшим и изменившим, что слишком любил жизнь и ее радости, ее псовую охоту, ее пошлые развлечения, что дни его проходили без подвигов и жертвы, — а в это время сеятель и хранитель России стонал в каждом углу и в каждой обители и стоном своим оглашал простор широкой Волги. В действительности же падение Некрасова было другое, и может быть худшее: он изменял не только бурлаку, но и поэзии. Он, иной раз сам не замечая (и это хуже всего), топтал ногами красоту, не щадил искусства, вливал в него разлагающий яд безнадежной не только внешней, но и органической прозы. Он так глубоко окунался в пошлость, что она оставляла на нем неизгладимые следы, и, ею оскверненный, входил он во храм художества. Это сказывается не только в том, что очень многие его стихи представляют собою лжестихи, фальсификацию поэзии, какую-то пустыню безобразности, но и преимущественно в том, что он сочинял не строфы, а куплеты, писал всякие ненужные водевили и фельетоны о разных юбилаях и триумфаторах, о клубах, о дельцах и святотатственно поднимал руку на истинные создания поэтов. Он, например, бессовестно испортил «Колыбельную песнь» Лермонтова, написав на нее скверную пародию; он сочинял «современные баллады», «современные оды», и дыхание современности, низменности отравляло настоящую балладу, настоящую оду. Он был щедр на пародию, она ему не претила, она соответствовала его язвительной иронии, потому что он слишком хорошо знал жизнь, и в этом было его несчастье. Житейский ум разрушал вдохновение, практик мешал поэту.

Но если Некрасова губила грубость и гуща быта, с которыми он не должен был бы освоиться так многосторонне и детально, сродниться так близко, то отсюда вовсе не следует, чтобы слабость

его заключалась в самом выборе объектов для его творчества. Нет, в том, что сюжетом своих произведений избирал он жизнь в ее низинах, он эстетически прав, и здесь совсем нет греха. Напротив, в этом — его сила, в том именно, что какой-нибудь отталкивающий, грубый кусок действительности он претворял в нечто художественное. И это ему удавалось нередко, и тогда он вступал в ту область, которая в нашей литературе преимущественно связана с его именем. Некрасов — поэт города, Петербурга, поэт проститутки, и все чудища, которые плывут, сплываются и расплываются в испарениях столичной мглы и мерзости, мутно глядели на него белесоватыми глазами и здесь же, на улице, в тумане, заставляли звучать его лиру; из этого безобразия он умел творить образы. Бальмонт прекрасно сказал про него, что душа его прошла «сквозь строй», что муза его, которую сам Некрасов не раз сравнивал с иссеченной в кровь девушкой, питалась ужасом. Как некий дух носился Некрасов над городом, и не тогда особенно, когда город, «словно весь посеребренный», пышен своей зимней красотой, — нет, осенью, когда сама природа больна, в слякоть и гниль, в мусть и тоску, в уныние удрученной стихии. И уже одна петербургская погода, эта важная и властная категория русской жизни, служила ему трагически-благодарной темой для его больных вдохновений, как она же была благодатью для гробовщика Варсонофия Петрова, обильно посылая ему мертвецов, и среди них, вероятно, певицу Бозио, которая «напрасно кутала в соболю соловьиное горло свое» и, сраженная русским морозом, «поникла челом идеальным»⁹. Поэт кошмарной столицы, поэт погоды или непогоды, одну за другою, в желтых тонах тумана, рисовал Некрасов свои тоскливые картины. Вот, например, «Утро» в Петербурге — утро без солнца, без счастья, без радости:

.....
 Жутко нервам — железной лопатой
 Там теперь мостовую скребут.

Начинается всюду работа;
 Возвестили пожар с каланчи;
 На позорную площадь кого-то
 Провели — там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете
 Поспешает, покинув постель;
 Офицеры в наемной карете
 Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу, из крепости грянули пушки!
Наводнение столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит, попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой...¹⁰

Его, этот современный человеческий город, «опоясанный гробами», незаметно переходящий в топкие могилы кладбищ, — город, где жизнь похожа на смерть, где обе они сливаются в одно фантастическое целое, в один сумбур и бред, — город с его бессолнечным утром и лихорадочными сумерками, с его преступной ночью; его «день больной и вечер мглистый, туманный, медленный рассвет»; современную улицу с ее убогими и нарядными, с ее надменными парадными подъездами, с ее «недовольной нищетой», с ее кражами и пожарами, с ее суетой и сценами, — все это дерзнул Некрасов воплощать в поэзию, и поэзия странностей, диссонансов, уродства, судорог и противоречий действительно возникала, поднималась из этих бездн темных Насилия и Зла.

Без отвращения, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел¹¹.

Решительно и без боязни расширил он владения поэзии, с лугов зеленых и вольных полей ввел ее также в городские ворота, на площади, в угар суетливых улиц. Это — завоевание, это — новая мрачная провинция красоты. Только страшно то, что город покорил его не одной своею мрачной поэзией, но и своею прозой. Город нашел в Некрасове своего жреца и свою жертву, своего поэта и своего прозаика. Надо обладать высоким строем духа, чтобы впечатления обыденности улавливать в их общем смысле и эстетической силе, чтобы в такой близости от пошлого избежать отравляющего прикосновения к нему и без опасности для самого себя растить на петербургском болоте какие-то черные цветы, бодлеровские цветы зла, извлекать из них поэтическую сладость.

Надобно усилие, отвлечение, чтобы при таком удручающем знакомстве с действительностью переноситься в ту область возвышающего обмана, в ту чистую сферу, где обитает «поэзия свободная». Осиленный буднями и мелочностью, Некрасов над житейской мутой, над мерзостями петербургской непогоды, в ее физическом и нравственном смысле, не мог подниматься незапятнанно; ложилась на него густая пыль жизни, тяготели на нем ее осадки, растлевающие осадки жизни, — и погасал, и чадил огонек святой красоты. Окружающее неблагообразие искажало его душу; не бесследно и не безнаказанно проникаешься гадкими впечатлениями, узнаешь мерзкие тайны города, секреты обогащения, и все называешь по имени — не пушкинская «насилыственная лоза» у Некрасова, а прямо розга... Он сам был горожанин, петербуржец, сам входил нераздельной частью в городской организм, — и этим объясняется тот отпечаток изменности, который, как мы уже видели, лежит на множестве его произведений, его мнимых стихов. Мелкое оставалось у него мелким, не возрастало от его прикосновения, как это бывает у поэтов-чародеев. В комической, правда, форме, но все-таки он сравнивает снопы, ныряющие в зелени, с зеленым столом, на коем груды золота мелькают, — это для него характерно. «Захлеснут был я невскою волною», — говорит он о себе, и муза мести и печали, чистая страдальца жизни, должна была вступать в борьбу с этой волной, с невской богиней, с наядой Петербурга. Когда верх брала муза и напряженный строй души не ослабевал, тогда Некрасов показывал, как много было в нем истинной поэзии. Когда же любовь к народу и любовь к свободе не проявлялись у него задушевно, искренне, а механически занимали свое место в какой-нибудь преднамеренной и сочиненной строфе — это было дело петербургской наяды. Она заменяла внутренний порыв шаблоном, омертвелостью тенденции, и Некрасов повторял самого себя, делал новую, поневоле бездушную копию с прежнего одушевленного подлинника. Именно тогда становился он слаб и как художник, тогда он расточал прозаизмы или свои несуразные гиперболы. И читатель оставался холоден и странно смотрел на него или, отзвываясь на дурные слухи, посылал ему, как тот анонимный корреспондент, недоумевающее стихотворение «Не может быть». Но все может быть в человеческой душе, и Некрасов, разрываемый в междоусобице идеализма и изменности, являет этому одно из самых убедительных и горьких доказательств...

Зато как близко подходит он к сердцу, особенно к молодому, хорошему сердцу, когда, освобожденный от городского сора и от самого себя как горожанина, он обнаруживает под глубокими песками прозы золотые крупинки красоты, душевности и своеобразного несомненного таланта! Он пишет тогда рыдающие, нервные стихи, он ревниво ищет

всех страдающих, чтобы отдать им свое сострадание, и, например, умершему крестьянину устраивает такие художественные похороны, как в своем «Морозе»:

Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!

Или другие его похороны (в стихотворении того же заглавия) находят себе в каждом читателе не холодного, а сердечно заинтересованного участника, и нельзя не отдать им скорбной красоте. Сама природа хоронит здесь молодого самоубийцу, она заменяет условные обряды:

И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Без попов!.. Только солнышко знойное,
Вместо ярого воску свечи,
На лицо непробудно-спокойное,
Не скупясь, наводило лучи;

Да высокая рожь колыхалася,
Да пестрели в долине цветы;
Птичка Божья на гроб опускалася
И, чирикнув, летела в кусты.

И тянется, тянется задушевная песнь погребения, и чувствуешь, как сами русские нивы не только схоронили, но и будут хранить покойный сон юноши:

Меж двумя хлебородными нивами,
Где прошел неширокий долок,
Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок.

Будут песни к нему хороводные
Из села по заре долетать,
Будут нивы ему хлебородные
Безгреховные сны навевать¹².

Эти хлебородные нивы и те, кто над ними трудится, пробуждают в Некрасове живые нелицемерные струны, — и точно приводит

их в музыкальное движение тот самый ветер родных полей, от которого выгибаются дугою, целуясь с матерью-землею, колосья бесконечных нив. Все трудящиеся и работающие, все голодные и холодные, все униженные и обиженные, несомненно, в лучшие, истинно некрасовские мгновенья его духа имеют к нему желанный доступ. Он от всего сердца оказывает им свое человеческое и поэтическое гостеприимство. Крепостное право, великая неправда рабства, в самом деле разъело ему душу; и вот, сам жертва, моральная жертва его, он глубоко сочувствует другим мученикам общественного зла. И терзает его классическая русская рифма:

Голодно, странничек, голодно,
Холодно, родименький, холодно!¹³

И в эти же непетербургские минуты, когда Некрасов вспоминает серебряную полосу родимой Волги или идиллию маленького городка, где

Время тянется сонливо,
Как самодельная расшива
По тихой Волге в летний день¹⁴, —

в эти минуты ясно видать, что поэтом города он сделался в силу рокового недоразумения, невольно и неохотно повинувшись жестокому капризу жизни, что पहले в нем стихия кольцовская, народническая, та нормальная, здоровая поэзия, которая рождается от прикосновения к земле, — и такой гнетущей тоскою по родине, тоскою по природе звучит у него этот призыв: «Ах, уйдите, уйдите со мной в тишину деревенского поля!»

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом —
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!¹⁵

Стоит отхлынуть петербургской волне, стоит Волге, его и всей России-матушке, одержать верх над Невою (вот две соперницы, которые полем своей битвы избрали душу Некрасова), и сейчас же взамен газетного языка появляются у него все эти «облака дождливые, как дойные коровушки», все эти чисто русские выражения и сравнения, иногда задорные, язвительные, чаще горестные, как название смерти «гостьей бесподсудной, бесплеменной, безродной», появляется у него это причитание матери над умершим ребенком:

Ой, плотнички-работнички!
Какой вы дом построили
Сыночку моему?
Окошки не прорублены,
Стеколушки не вставлены,

Ни печи, ни скамьи!
Пуховой нет постелюшки...
Ой, жестко будет Демущке,
Ой, страшно будет спать!¹⁶ —

или другое причитание — матери над дочерью-невестой:

Как рыбка в море синее
Юркнешь ты! как соловушко,
Из гнездышка порхнешь!
Чужая-то сторонюшка
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!

Там холодно, там голодно,
Там холеную доченьку
Обвеют ветры буйные,
Обграют черны вороны.
Облают псы косматые,
И люди засмеют! —

или эта дышащая лукавством и счастьем девичья отговорка:

Ах! что ты, парень, в девице
Нашел во мне хорошего?
Где высмотрел меня?
О святках ли, как с горок я
С рябьятами, с подругами
Каталась, смеючись?
Ошибся ты, отецкий сын!
С игры, с катанья, с беганья,
С морозу разгорелось
У девушки лицо!
На тихой ли беседушке?
Я там была нарядная,
Дородства и пригожества
Понакопила за зиму,
Цвела как маков цвет!

А ты бы поглядел меня,
 Как лен треплю, как снопики
 На риге молочу...
 В дому ли во родительском?..
 Ах! кабы знать! Послала бы
 Я в город братца-сокола:
 «Мил-братец! шелку, гарусу
 Купи семи цветов,
 Да гарнитуру синего!»
 Я по углам бы вышила
 Москву, царя с царицею,
 Да Киев, да Царьград,
 А посередке — солнышко,
 И эту занавесочку
 В окошке бы повесила,
 Авось ты загляделся бы,
 Меня бы промигал!..¹⁷ —

и все эти другие самоцветные камешки, извлеченные из сокровищ народного творчества и естественной красотой своею скрасившие однообразную и надуманную поэму о том, кому на Руси жить хорошо.

Правда, и на самой народности Некрасова, словесной народности, лежит печать литературы, и кое-что здесь искусственно, — но в общем неоспоримо слышны у Некрасова отголоски русского голоса, эхо русской родины, и есть у него живая самобытность, и ярко светится в ней самое ядро души русской, — и в симпатическом горении горит перед ним душа самого поэта. «За каплю крови, общую с народом, прости меня, о родина, прости!» — умолял Некрасов, и все эти стихи действительно обнаруживают его кровное родство с народной стихией, которая и не может ему не простить...

Тогда, в недолгое и оспариваемое царствование Волги-победительницы, возникают у него оригинальные и смелые образы, какая-то интимная мелодия стиха, и даже слова и обороты прозаические, от того, что они удостоились попасть в стихотворение, получают как бы освящение от поэзии, приобщаются к ней и преображаются в художественную ценность. Тогда для него в морозный день

...солнце, кругло и бездушно,
 Как желтое око совы,
 Глядело с небес равнодушно
 На тяжкие муки вдовы¹⁸, —

или то же солнце, но в его лучший день, солнце красное смеется, «как девка из снопов»; или

как серебряные блюда,
На ровной скатерти лугов
Стоят озера¹⁹.

Или

Ночь тихая спускается,
Уж вышла в небо темное
Луна; уж пишет грамоту
Господь червонным золотом
По синему по бархату, —
Ту грамоту мудреную,
Которой ни разумникам,
Ни глупым не прочесть²⁰.

Или березка кудрявая возвышается

стройная,
С бледно-зелеными листьями,
Точно вчера только ставшая
На ноги резвая девочка,

Что уж сегодня вскарабкалась
На высоту, и бестрепетно
Смотрит оттуда, с смеющимся,
Смелым и ласковым личиком²¹.

Тогда понятно, отчего плакала Саша, как лес вырубали, — так
участливо и поэтично описывает Некрасов рубку леса.

Тогда художественно говорит он о журавлях, что крик их

словно переключка
Хранящих сон родной земли
Господних часовых, несется
Над темным лесом, над селом,
Над полем, где табун пасется...²²

Да, Некрасова в светлые праздники его сердца, в поэтические, т. е.,
значит, самые характерные, минуты его духовной жизни влекло за го-
род, за темные пределы городской суеты:

Дорого-любо, кормилица-нива,
Видеть, как ты колосишься красиво!²³

Но, конечно, и в деревне он, вообще воспринявший столько отвратительных впечатлений и по дороге к чистой, спокойной поэзии натолкнувшийся на русскую действительность, — и в деревне он тоже видит безобразие, ужас, дикость. Деревня поворачивается к нему своими задворками. Он узнает там прежде всего такую новость, что у солдатки Анисьи, как и Демушку у Матрены,

Девочку (было ей с год)
Съели проклятые свиньи²⁴.

В лесу он замечает, как галчата

Прыгали, злились.
Наскучил их крик, —
И придавил их ногою мужик²⁵.

Бросается ему в глаза трагедия несжатой полосы, и в грустной жалобе стихов оплакивает он пахаря, которому моченьки нет, — этого немощного русского пахаря...

Где же наш пахарь? чего еще ждет?
Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?
Ветер несет им печальный ответ:
Вашему пахарю моченьки нет²⁶.

Он знает, правда, и героев деревни, ее Микулу Селяниновича, ее богатырей, — но куда их сила делася, на что пригодилася?

Под розгами, под палками,
По мелочам ушла!²⁷

Над всей этой скорбью и недужностью, примиряя и смягчая, вышшаается образ матери. Редкое, едва ли не единственное, и светлое явление: муза в виде матери. И она перед нами то как судья, как совесть, то в поэтическом ореоле молодой и задумчивой женщины. Поэт в минуты душевного алкания, в минуты одиночества, ищет не свидания с любимой девушкой: он взывает к матери, с нею хочет повидаться на миг; в лунную ночь вдохновений он хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит его бедная мать. «Русокудрая, голубоокая», она так неразрывно соединила свою прекрасную и печальную душу с душою сына, что, кто помнит Некрасова, тот не может не помнить его матери:

...Уж ты ушла из мира,
 Но будешь жить ты в памяти людской,
 Пока в ней жить моя способна лира.
 Пройдут года, поклонник верный мой

Ей посвятит досуг уединенный,
 Прочтет рассказ и о твоей судьбе;
 И, посетив поэта прах забвенный,
 Вздохнув о нем, вздохнет и о тебе²⁸.

Некрасов внес в поэзию новое начало: мать поэта, соединенную с ним в единстве вдоха, — кто раньше интересовался ею, когда даже в пушкинской лирике отсутствует ее образ? Мать не нужна. Старая, около взрослого сына, она производит впечатление человека, уже отбывшего свою жизненную работу. Она вся в прошлом — памятник самой себя. Мы больше любим то, что мы создали, чем то, что создало нас. Но вот Некрасову мать нужна. Помимо других объяснений, не потому ли это еще, что единственное существо, перед которым не безнадежно-стыдно, — это мать? А многого нужно было стыдиться Некрасову. Но она все выслушает, все простит, она всегда пожалует:

Мать не враждебна и к блудному сыну²⁹.

И блудный сын в замечательном стихотворении «Баюшки-баю», когда «недуга черная рука» уже влекла его на закланье, рисует поразительную картину: на краю гроба слагает он стихи, слабеющими устами допекает свою песню, — и в это время слышится голос матери родной: усопшая мать воскресает, для того чтобы убаюкать своего не маленького, а взрослого сына, убаюкать его не в колыбели, а в могиле:

Пора с полуденного зноя!
 Пора, пора под сень покоя;
 Усни, усни, касатик мой!

 Усни, страдалец терпеливый!
 Свободной, гордой и счастливой
 Увидишь родину свою,
 Баю-баю-баю-баю!³⁰

Мать утешает умирающего сына: ему, всегда нуждавшемуся в опоре и ободрении, ему, всегда недовольно мужественному, приносит она свое укрепляющее слово, читает свою материнскую отходную, — она прервала собственный могильный сон, чтобы легче было умереть ее роб-

кому сыну, и под звуки ее обещающего напутствия ему действительно не так страшно умирать:

Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья;
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,

Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой, —
Баю-баю-баю-баю!

Вообще, Некрасов неисчерпаем в своих гимнах материнству, святым слезам его, которые он подсмотрел среди всякой пошлости и прозы. Бьются люди в роковых сечах, — например, на твердых Севастополя, и боевые кони меняют всадников лихих, «как вдовец жену меняет», — а в это время старая мать всадника бесплодно поджидает его у окна. И Некрасов взывает к ней:

Загородись двойною рамой,
Напрасно горниц не студи,
Простись с надеждою упрямой
И на дорогу не гляди³¹.

И не мать ли это склоняется над несчастной крестьянкой и шепчет ей:

Усни, многокручинная!
Усни, многострадальная!³² —

та мать, о которой мы в муках вспоминаем, которую крестьянка называет:

День денна моя печальница,
В ночь — ночная богомолица?³³

Но не каждому человеку в силах помочь родная мать, и оттого с молитвой обращаются и к общей матери мира, Матери Божьей, вечной *Dolorosa*. О, как ее просят!

Ты видишь все, Владычица!
Ты можешь все, Заступница!
Спаси рабу свою!³⁴

И образ родной матери Некрасова выясняется в своем символическом характере, принимает величественные мировые очертания, и вот она уже перед нами как общая мать-природа, как та мать-земля, мать-сыра земля, которую и в буднях города вспоминал и любил ее сын-поэт. Особый смысл получает тяготение Некрасова к матери — это его тоска по природе, тоска по той стихийной родине, которая искупает, быть может, весь ужас и обиду родины тесной и ограниченной — гнезда крепостничества. Оторванный от природы Петербургом, он все возвращается к ней своей мечтой и молитвой. Только она и все, что ей послушно, могут заглушать в нем ненавистную «музыку злобы», типичные для него диссонансы.

И в сердце, которое металось между любовью и ненавистью, между деревней и городом и то уставало питаться злобой, то этой устали стыдилось, мать воцаряла тихую ласку и это характерное для Некрасова доверие к России, к русскому школьнику, умиление перед добротой, перед добрым человеком, — и тогда близки становились ему все эти коробейники, дядюшки Яковы и дедушки Мазаи, утешители сироток, спасители зайцев и пчел. Тогда он обращался к жизни, которую так любил и которая только заслонена была для него мглою Петербурга, непогодой действительности. Он брал у жизни и любил в ней одинаково ее страсть и ее святость. Вспомните, как часты у него мотивы любви, упоение какой-нибудь Любушкой-соседкой, эта высокая рожь, которая должна распрямиться и сохранить тайну влюбленных. Вместе с тем знаменательно для него глубокое поклонение русской женщине за ее высокий подвиг, за то, что она может быть Трубецкой или Волконской; «святая женская душа» была для него действительно алтарем, на который он приносил свои поэтические жертвы, и женщина, которая часто мечталась ему, «вся соразмерная, гордая, стройная», должна именно в Некрасове видеть и чтить певца своей доли. Пусть иногда замечается у него тяжба с женщиной, горечь обиженного мужского сердца, разочарование рыцаря — все же он откликнулся на несчастье женщины, даже на девичью тоску ее, когда она жадно глядит на дорогу за промчавшейся тройкой вослед; он так ласково отнесся к девушке и сказал, что «толпа без красных девушек, что рожь без васильков».

Вот отчего, несмотря на все неверные и негармоничные звуки этой поэзии, мимо нее пройти нельзя, как нельзя миновать свою молодость, когда и личного счастья, всех этих васильков, хочется, и в то же время, заволакивая и отравляя свое счастье, принимаешь неправду жизни близко к чуткому сердцу, которое еще не «согнулось под игом лет», и вместе с поэтом скорбно размышляешь о ней у негостеприимного парадного подъезда.

Некрасов именно поэт отравленный: он — певец нарушенной радости, смущенной жизни, искаженного счастья. Он вовсе не хочет скорби и уныния:

Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего³⁵.

Желанна и понятна ему вся отрада существования, трепетно слышит он, как идет-гудет зеленый шум, весенний шум, чарует его природа, красота, поэзия, — но все это застилают своею безобразной тенью общественная неправда, деревенское и городское неустройство, жизненная лампа разных бурлаков и поденщиков. И для него

Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней³⁶.

Становится горек самый хлеб жизни, политый чужими слезами, как хлеб той женщины, которая, не имея соли, посолила его для больного ребенка всегда готовой собственной слезою. И оттого восклицает Некрасов:

Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок³⁷.

Жизнь вообще нейдет Некрасову впрок. Это — его существенная черта как писателя. Говорят, что как человек он своими темами не страдал. Но из его лучших стихотворений этого не видно. И, во всяком случае, не безразличны для поэта его темы: они с ним сживаются, они свое влияние на его внутренний мир оказывают, они его воспитывают. И оттого мы как реальный факт должны принять, что всякая радость поневоле смущена, возмущена для Некрасова, который стоит лицом к лицу, сердцем к сердцу со всеми этими приниженными и огорченными, который знает обиду бабушки Ненилы, и скорбь Орины, матери солдатской, и той старушки, чей сын сплосал на сорок первом медведе, —

Умер, голубушка, умер, Касьяновна,
И не велел долго жить...³⁸

Любоваться крестьянскими детьми, их идиллией — это дорого Некрасову; пленяет его вереница их внимательных глаз, серых, карих, синих, смешавшихся, как в поле цветы; он знает, что крестьянские дети — это дети по преимуществу, что как-то сливаются они, наивные, с наивностью самой природы, — но в самом страшном кругу дантовского ада, в самом пекле городской жизни, на фабрике, видит он все тех же детей:

Вы зачем тут, несчастные дети?!³⁹

Или хочется молитвы, и храм Божий, над которым реют птицы, пахнул на душу детски чистым чувством веры:

Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,

Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем⁴⁰. —

Но рассказ священника из «Кому на Руси жить хорошо» не может действовать религиозному настроению...

Так плетешься по жизни, усталый от нее и от самого себя, колеблясь между добром и злом, между верой и недоверчивостью, перемежая искры воодушевления рутиной и скукой, не достигая цельности. Некрасов за ее отсутствие себя клеймил — за отсутствие единого служения добру. Но муки его самобичевания претворились для потомства в лишнее почтение, в новый урок социальности.

Обыкновенно после Некрасова идешь дальше в своем художественном развитии, и идешь в другую сторону, — но русский юноша, русский отрок именно у него получали когда-то первые неизгладимые заветы честной мысли и гражданского чувства. Мать поэта права: лучшие песни свои он в самом деле мог бы услышать теперь над Волгой, над Окой, над Камой, потому что, отделив плевелы от его полновесной пшеницы, русский интеллигент близко знает и любит его, тоже поэта-интеллигента, с его сомнениями и нецелостностью. И, доверчивый к своему читателю, не сомневаясь в его общественной отзывчивости, Некрасов дает некоторую отраву личного, но отраву необходимую, потому что она отвлекает от самодовольства и привлекает молодые глаза к «безднам труда и голада», к зияющей лжи людского строя, к несправде и несчастью быта:

...Земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца⁴¹, —

и она теперь усиленно рыдает, и уже по тому одному Некрасов, поэт болеющей родины, поэт рыдающей России, еще далеко не изжил своего века.

